

Идеал России - сама Россия

Художественного руководителя театра «Эрмитаж» Михаила ЛЕВИТИНА театралам представлять не нужно. Его спектакли необычные, всегда выбивающиеся из общего потока. В его труппе нет кинозвезд, но редкий театр может похвастаться таким обилием ярких индивидуальностей. За 25 лет работы Левитин создал более сорока спектаклей, выпустил три книги прозы: «Чужой спектакль», «Болеро» и «Мой друг верит». Сегодня он собеседник нашего специального корреспондента Елены Владимировой

— Михаил Захарович, ваша творческая жизнь началась необычайно рано и на редкость ослепительно. В 17 лет вы стали студентом ГИТИСа. В 20 - поставили спектакль «Ю том, как господин Мокишлотт от своих злосчастий избавился» Петра Вайса в знаменитом Театре на Таганке. Таким блистательным дебютом может похвастаться далеко не каждый режиссер. Но ваш дальнейший путь не был усыпан розами. Главным режиссером вы стали сравнительно недавно. А до этого были чужие театры, неустраивенность...

— Это судьба многих людей нашего поколения. Я не жалуюсь на свою судьбу, ибо в самом этом слове заложена некая многозначность, сложность и борьба. И, наверное, если бы борьбы не было, я бы ее придумал. Если бы не было трудностей - я бы их создал.

Свой театр был во мне всегда. Время от времени, эпизодически, он возникал на сценах Москвы, Ленинграда, Риги. При всех перипетиях ставить мне давали - не давали нормально работать. Государство меня не кормило. Вернее, кормило, но очень эпизодически. Помню, после «Мокишлотта» ко мне подошел замечательный польский режиссер Конрад Свинярский и задал всего лишь один вопрос: «Сколько вы получаете?» Я назвал цифру - по-моему, рублей 125 в месяц. «В Европе вы получали бы больше», - вот все, что он мне ответил. Но меня это всегда волновало мало. Мне богатство - то, что есть во мне.

Я никогда не стремился стать главным режиссером. Но когда поставил в Театре миниатюр (так раньше назывался «Эрмитаж») 16 спектаклей, понял, что труппа хочет, чтобы я стал главным режиссером, и я этого хочу. Два года шла изнурительная борьба. О ней с трибуны съезда СТД говорили Ульянов, Лавров, Ефремов. Когда после этого в райком партии меня спросили, почему вы так хотите быть главным, я им ответил: «Это не я хочу,

это вы хотите. Я ни разу к вам не пришел с этой просьбой».

— До вас Московский театр миниатюр был полустрадным театром, куда люди приходили развлечься, расслабиться. Спектакли, сделанные вами, разительно отличались от того репертуара. Помню, каким событием стал ваш спектакль «Харис! Чармс! Шардам! или Школа клоунов». Такого блистательного фейерверка по прозе Даниила Хармиса театральная Москва не знала. Спектакль идет уже более десяти лет, и до сих пор зрители принимают его с тем же восторгом.

— Первой моей постановкой в Театре миниатюр был спектакль по Михаилу Жванецкому. Я попытался объединить группу, которую привел, с той, что была. Это был первый спектакль, но судьба у него была немиссия. Его не выпускали ровно год. Уникали меня невероятно. Заставляли выбрасывать основные, корневые сцены, разрушали жанр, форму... Благодаря стараниям Жванецкого спектакль все же выпустили, но в каком виде... Затем был «Чехонте в Эрмитаже» и «Хармс!...». «Хармс!...» - счастливый спектакль. Мы называем его нашей «Чайкой». Именно с него, можно считать, и начался наш театр.

Мне удалось обмануть начальство. Выдать спектакль за детский, текст - за клоунаду на бумаге. Все сошло. Видимо, решили: «Глупость какая-то, но пусть идет. Театр не магистратский. Может позволить себе глупость». Вообще искусство на обочине - вещь прекрасная.

— «Хармс!...» начал обзирную линию в вашем театре. Теперь есть и «перепетка-обзир» «Парижская жизнь» и «Вечер в сумасшедшем доме». Когда у вас появились интерес к обзирным?

— Наверное, сыграла свою роль интуиция, но я еще мальчишкой понял, что корни этой литературы в Пушкине и Гоголе. Еще в детстве открыл для себя театр, а затем и литературу 20-х годов. Наш театр авторский. Никаких поисков пьес в нем нет. Я ставлю текстов, которые пишут так, как хотел бы писать я. Мир обзирных мне чрезвы-

чайно близок. Он не суетлив. Мышление обзирных на поверхностный взгляд дробное - на самом деле синтезирует мир, а не навязывает свою концепцию. Они воспринимают мир, как осколки, а не разбивают его на части.

Литература 20-х годов была со мной всегда. Еще 25 лет назад я предлагал поставить «Адама и Еву» Булгакова, пятаковскую «Шарманку». Теперь эта драматургия стала модной, и именно поэтому вопреки ситуации мне уже не хочется ставить ее в своем театре. Я собирался ставить Вагинова, но передумал, потому что вокруг и так много обзирности, причем чаще всего ложного, иллюстративного.

Я дружил с замечательной переводчицей Ритой Райт-Ковалевой. С восьмого класса переписывался с Алисой Коонен. Портрет Таврова, который вы видите в кабинете, подарил мне его секретарь. Я очень хорошо знал Елену Сергеевну Булгакову и вдову Олеси, Шкловского и Каверина. Люди двадцатых годов близки мне.

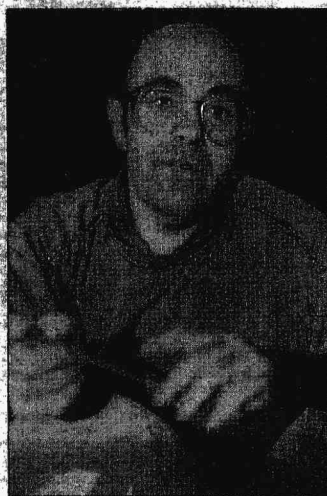
— Ваш спектакль «Вечер в сумасшедшем доме» говорит о том, о чем у нас принято молчать, - о смерти. Как вы решились на это?

— Я об этом просто не задумывался. Ставлю репертуар своего детства, выполняю свою программу. Несколько лет назад, когда у меня было очень плохо со здоровьем, врач, наблюдавший меня, сказал моим близким: «Что вы от него хотите? Ему надо вырыть за жизнь пятнадцать ям. Он их выроет и умрет». Вот я и их рою.

«Вечер в сумасшедшем доме» возник потому, что мне надо было осмыслить смерть. За год до этого я ее испытал. По идее я должен был умереть. Этого не произошло. Видимо, потому что я еще не выполнил своей программы.

— Михаил Захарович, мне кажется, вам никогда не приходилось идти на компромиссы. Вы всю жизнь занимаетесь только тем, что вам хочется. Как вам это удается?

— Я просто не способен идти на компромиссы. Помню как-то, мне было тогда лет 35, начальник Театра Советской Армии сказал: «Поставьте для нас пьесу.



В конце жизни вы оглянетесь - что у вас за плечами? Ни одного историко-революционного, ни одного героико-патристического спектакля! Надо сказать, я делал это не намеренно. Просто я слеп и глух к чужому. Никогда не занимался ничем, кроме того, что хотел. Ничем! Никогда! Меня привлекают судьбы людей, живших в послереволюционном хаосе. Я убежден, что революция родилась не в мозгу каких-то дегенератов или гениев. Это было необходимое для человека кровопускание. Вообще все, что происходит и с человеком, и с обществом, должно происходить. Даже самое страшное.

— Вы фаталист?
— Безусловно. Мне интересна жизнь как набросок. Интересно ощущать себя песчинкой в общем потоке.

— А на какого зрителя вы рассчитываете?

— Всю жизнь ставлю спектакли для себя. И мои актеры играют для себя. А если это еще кому-то интересно - замечательно. Рассчитывать же на толпу совершенно наплево. Я наблюдаю сейчас за теми театрами, что добились большой популярности. Они добились ее ценой мимикрии. По-моему, это выхолащивает и душу, и театр.

— Рядом со спектаклями чрезвычайно серьезными, даже трагическими, можно увидеть у вас очень жизнеутверждающие, легкомысленные. По какому принципу вы строите репертуар?

— По принципу «пустейших спектаклей». Отсюда и «Соломенная шляпка» и «Парижская жизнь», да и «Хармс!...» затеялся как «пустейший спектакль». Иногда врезывается такая мощная тема, как смерть или одиночество. Все свое надо носить с собой. Но я очень надеюсь, что сумею еще поставить «пустейшие спектакли». Между прочим, пустота иногда бывает и очень трагической.

— А что вы репетируете сейчас?

— Гоголя. В основе нашего нового спектакля - «Женитьба». Гоголь - человек абсолютно одинокий - идеализировал женщину. Она у него или богиня, или ведьма. Во всяком случае, существо

нездешнее, к которому он пытался приблизиться.

Я не понимаю, что такое «овмыя». Что такое «любовь», хочу надеяться, понимаю, а вот «семья»... Я вижу вокруг огромное количество чужих людей, живущих вместе. Мне страшно-интересно в этом разобраться. Это моя личная тема.

— На фоне всяческих театральных разделов, бесконечных конфликтов ваш театр кажется удивительно прочным.

— Убежден, что распри начинаются там, где кончается искусство. У нас собралась очень интересная группа людей, преданных сути нашего театра. Я могу быть ослеплен такой компанией. Замечательные актеры здесь играют - Виктор Гведдишвили, Галина Морачева, Александр Пожаров, Лидия Чернова, Борис Романов, Геннадий Храпунков и многие другие. Это настоящие театральные звезды.

— Неужели все перипетии нашей жизни, все съездовские страсти не отражаются на вашем творчестве?

— Своим актерам я не рекомендую читать газеты и смотреть телевизор. Когда я это делаю, то перестаю понимать, что происходит.

Мне очень смешно, когда в такой огромной культурной стране, как Россия, идеалом становится Америка. Идеал для России - сама Россия, и спасти ее может только культура...

— ...которую, однако, не жалуют. Как ваша труппа за здание театра: конца ей, кажется, не предвидится?

— Она длится уже больше года. Я вынужден писать мзру письма. Ему пишут и министр культуры, и председатель СТД. Никто не удостоивается ответа, хотя бы отрицательного. Дело доходит до абсурда: мы играем на передний части знаменитой мхатовской сцены, а на другой части - с колосниками, с кругом - расположилась столарная мастерская.

— Михаил Захарович, жизнь у вас отнюдь не безоблачная. В ней было всякое - и закрытые спектакли, и вынужденная безработица, и борьба за свой театр, но я не припомню ни одной вашей публичной жалобы.

— Это моя ошибка. В России любят людей несчастных. Дамы любят обсуждать трагическую судьбу режиссеров, а режиссеры, в свою очередь, рассказывать, как им плохо и больно. Я же никогда этим не занимаюсь. И вообще я не делаю культ из театра. Это лишь одна из форм моей жизни, и я всегда стараюсь находить в ней какие-то радости. Плохо в театре - хорошо в любви. Плохо в любви - хорошо в писании. Плохо в писании - хорошо в педагогике, в общении, да мало ли в чем. Где-то же хорошо!

Мне кажется, нам всем не посреди бы внешний шик: тебе плохо, а ты играешь, что тебе хорошо. Глядишь - правда, стало хорошо.

Фото Юрия Феклистова.